

*Посвящается Лукасу и Феликсу,
моим самым любимым
И моей бабушке, Мюриэль Маурер Коули,
чья любовь всегда была неизменна*

*Жизнь мы полной чашей
Пьем, пока — весна,
Но в улыбке нашей
Искра слез видна,
Те песни любим мы, в которых грусть слышна.*

Перси Шелли, «К жаворонку»*

* Здесь и далее в переводе К. Д. Бальмонта.

КНИГА ПЕРВАЯ

ЭЛЛА

1

Сегодня. 1 августа, Бзквуд

06:30

Картинка появляется откуда ни возьмись. Поначалу в голове пусто, а потом перед глазами вспыхивает груша. Идеально зеленая, с листочком на торчащем черенке. Она лежит среди лаймов в керамической вазе для фруктов, в центре выдавленного вида садового стола на старой веранде у пруда, прячущегося в лесу на морском побережье. Рядом с вазой латунный подсвечник, покрытый застывшим воском и пылью, въевшейся за долгую зиму, когда он стоял на открытой полке. Тарелки с недоеденной пастой, нетронутые льняные салфетки, остатки кларета на дне бутылки, доска с грубым домашним хлебом, который не резали, а рвали руками. На столе открыт заплесневевший от сырости томик стихов. Глядя на натюрморт вчерашнего ужина, я вспоминаю, как воспаряла в небеса ода «К жаворонку» — волнующая, болезненная.

— Мне б целый мир внимал, как внимаю я тебе, — так красиво декламировал он. — Посвящается Анне.

И мы все сидели, замороженные, вспоминая ее. Я могла бы вечно смотреть лишь на него и быть счастливой. Слушать с закрытыми глазами, чувствуя, как меня раз за разом омывают его слова и дыхание. Это все, чего я хочу.

Стол окружен полумраком, но за противомоскитными сетками, над пятнистыми деревьями, уже светло, пруд голубеет, а у кромки воды лежат отбрасываемые ниссами густые тени, и лучи солнца не могут разогнать их в этот ранний час. Я разглядываю чашку с оставшимся глотком густого холодного эспрессо, раздумывая, стоит ли его выпить. Воздух свеж. Я ежусь под блеклым лавандовым халатом — маминым, — который надеваю каждое лето, когда мы приезжаем сюда. Халат пахнет мамой и мышинным пометом зимней спячки. Это мое любимое время дня в Бэквуде. Раннее утро у пруда, пока все еще спят. Яркий солнечный свет режет глаза, вода бодрит, козодои наконец-то смолкли.

Между досками крылечка за дверью веранды забился песок — нужно подмести. Метла стоит, прислонившись к сетке, вминаясь в нее, но я, не обращая внимания, иду по тропинке к нашему маленькому пляжу. Дверные петли протестующе взвизгивают у меня за спиной.

Я сбрасываю халат на землю и встаю у края воды, обнаженная. За стеной из сосен и кустов на том берегу пруда яростно ревет океан. Наверное, несет в брюхе шторм откуда-то из открытых вод. Но здесь, у пруда, воздух вязкий, как мед. Я жду, приглядываюсь, прислушиваюсь... к жужжанию крохотных насекомых, к ветру, слишком мягко колышущему деревья. Потом захожу по колено и бросаюсь в ледяную воду. Заплываю на глубину, мимо кувшинок, подгоняемая возбужде-

БУМАЖНЫЙ ДВОРЕЦ

нием, ощущением свободы и выплеском адреналина, вызванным безотчетной паникой. Чувствую смутный страх, будто из глубины сейчас выплывут кусачие черепахи, чтобы цапнуть меня за тяжелые груди. Или, может, их привлечет запах секса, исходящий, когда я раздвигаю и смыкаю ноги. Внезапно меня охватывает желание вернуться на безопасное мелководье, где видно песчаное дно. Хотелось бы мне быть смелее. Но в то же время мне нравится страх, то, как перехватывает дыхание, как колотится сердце в груди, когда я выхожу на берег.

Как могу, я выжимаю воду из длинных волос, потом сдергиваю потрепанное полотенце с веревки, которую мама повесила между двух чахлых сосен, и ложусь на песок. На сосок мне опускается ярко-синяя стрекоза и сидит там, прежде чем полететь дальше. Муравей переползает через песчаные дюны, которые мое тело только что оставило у него на пути.

Вчера вечером я наконец-то переспала с ним. После всех этих лет, которые я провела, воображая, как это будет, не зная, по-прежнему ли он меня хочет. Но в тот момент я поняла, что это случится: вино, прекрасный голос Джонаса, декламирующего оду, мой муж Питер, одурманенный граппой, лежит на диване, все трое моих детей ушли спать к себе в домик, мама уже у раковины, моет посуду в ярко-желтых резиновых перчатках, не обращая внимания на своих гостей. Наши взгляды встретились и на долю секунды задержались друг на друге. Я встала из-за шумного стола, сняла в кладовке трусы и спрятала их за хлебницей. Потом вышла в ночь через кухонную дверь. Стала ждать в тени, прислушиваясь к звону тарелок, бокалов и столового серебра в мыльной воде. Я ждала. Надеялась. А потом появился он, прижал меня к стене дома, задирая платье.

МИРАНДА КОУЛИ ХЕЛЛЕР

— Я люблю тебя, — прошептал он. Я судорожно вздохнула, когда он протиснулся внутрь меня. И подумала: обратной дороги нет. Я больше не буду жалеть о том, чего не сделала. А лишь о том, что сделала. Я люблю его и ненавижу себя, люблю себя и ненавижу его. Это конец длинной истории.

1966 год. Декабрь, Нью-Йорк

Я истошно ору. Задыхаюсь от ора, пока мама наконец не догадывается, что что-то не так. Она тащит меня к доктору и воображает себя мисс Клавель*, пока бежит по Парк-авеню, в ужасе прижимая к себе свою трехмесячную малышку. Отец тоже бежит — по Мэдисон-авеню, от небоскреба Фред-Ф.-Френч-билдинг, с портфелем в руке. В голове у него все путается от страха перед собственным бессилием, как и всегда, за что бы он ни взялся. Доктор говорит, что времени нет — если медлить, ребенок умрет, — и вырывает меня из рук матери. Разрезает мне живот на операционном столе, как спелую дыню. Опухоль сдавила мне кишки железной хваткой, и яд от скопившегося говна расплзается по крошечному тельцу. Говно всегда копится, и нужно уметь его выдержать, но об этом я узнаю только спустя много лет.

Добравшись до моих внутренностей, доктор грубо вырезает яичник, торопясь отделить смерть от жизни. Об этом я тоже узнаю только спустя много лет. Когда это случится, мама заплачет во второй раз. «Прости меня, — скажет она. — Я должна была проследить, чтобы он был осторож-

* Персонаж детской книги «Мадлен» Людвиг Бемельманса.

БУМАЖНЫЙ ДВОРЕЦ

нее...» — словно в ее власти было изменить мою судьбу, но она не стала.

Потом я, туго запеленатая, с прижатыми к телу руками, лежу в больничной палате. Громко реву, живая, преисполненная негодования от такой несправедливости. Маме не разрешают меня кормить. У нее высыхает молоко. Проходит почти неделя, прежде чем мои руки освобождаются от оков. «Ты всегда была такой жизнерадостной малышкой», — произносит отец. «А после этого, — говорит мать, — ты не прекращала орать».

07:30

Я переворачиваюсь на живот и кладу голову на руки. Мне нравится солоновато-сладкий запах, исходящий от моей кожи, когда я лежу на солнце — мускусный золотисто-ореховый аромат, словно свидетельствующий, что я исцеляюсь. С тропинки, ведущей от главного дома к спальным домикам, доносится тихое хлопанье двери. Кто-то проснулся. Сухие листья шуршат под ногами. Из душевой кабинки слышится шум воды. Трубы стонут, приветствуя новый день. Вздохнув, я подбираю с песка халат и возвращаюсь к дому.

Наша дача состоит из главного строения — «большого дома» — и четырех односпальных домиков вдоль усыпанной хвоей тропы, что огибает берег пруда. Маленькие, обшитые досками, у каждого дома — двускатная крыша для защиты от снега, слуховое окошко и большие окна, идущие от одного края стены до другого, по обеим сторонам. Старомодно, по-деревенски, безо всяких рюшечек. Таким и дол-

жен быть дачный домик в Новой Англии. Полоса из кустов и маленьких деревьев между тропой и прудом — лавр, цветущая клетра и дикая черника — защищает нас от любопытных взглядов рыбаков и чересчур энергичных отдыхающих, которым удастся доплыть до нашего берега от общественного пляжа на противоположной стороне. Им не разрешено выходить на берег, но иногда они бродят по мелководью в полуметре от него, прямо перед нашим заслоном из кустарника, не подозревая, что вторгаются в чужую жизнь.

По другой тропе, за домиками, можно попасть в старую баню. Облетающая краска, ржавая эмалированная раковина, покрытая белесыми тропиками мотыльков, слетевшихся ночью на свет лампочки, допотопная ванна на ножках еще с тех времен, когда дедушка построил эту дачу, душевая кабинка на улице — трубы с горячей и холодной водой закреплены на ниссе, вода льется прямо на землю и ручейками бежит по песку.

В большом доме, построенном из шлакоблока и рубероида, всего одна комната — гостиная, она же кухня, с отдельной кладовкой. Дощатый пол, тяжелые балки, массивный каменный камин. В дождливые дни мы сидим здесь, закрыв все окна и двери, слушаем, как трещит огонь, и заставляем себя играть в «Монополию». Но место, где на самом деле проходит наша жизнь — где мы едим, читаем, ссоримся и вместе стареем, — это веранда шириной с сам дом, с видом на пруд. Наша дача не приспособлена для зимы. Нет смысла это делать. В конце сентября, когда начинаются первые заморозки и летние домики закрываются до следующего года, Бэквуд становится одиноким местом — все еще красивым в холодном свете, но суровым и мрачным. Никто не хочет

БУМАЖНЫЙ ДВОРЕЦ

быть здесь после того, как опадут листья. Но когда снова приходит лето, когда лес зеленеет и голубые цапли возвращаются в свои гнезда, чтобы бродить по сверкающему пруду, на земле нет места лучше.

Едва я захожу обратно на веранду, как на меня накатывает волна ностальгии, пробежавшей по моему солнечному сплетению, словно ртуть. Я знаю, что должна убрать со стола, пока остальные не пришли завтракать, но мне хочется сохранить его в памяти — воссоздать вчерашний вечер крошка за крошкой, тарелка за тарелкой, выжечь его образ кислотой в голове. Я провожу пальцами по фиолетовому пятну от вина на белой льняной скатерти, подношу бокал Джонаса к губам в попытке ощутить его вкус. Закрыв глаза, вспоминаю, как он прижался бедром к моему бедру под столом. Еще до того, как я обрела уверенность, что он меня хочет. И я, затаив дыхание, гадала, случайное это прикосновение или намеренное.

В основной комнате все как всегда: висящие над плитой кастрюли, кухонные лопатки на крючках для кружек, банка с деревянными ложками, выцветший список телефонных номеров, пришпиленный к книжной полке, два кресла у камина. Ничего не изменилось, однако когда я иду через кухню в кладовку, мне кажется, будто я очутилась в другой комнате, она приобрела более отчетливые очертания, словно сам воздух пробудился от глубокого сна. Я захожу в кладовку и смотрю на стену из шлакоблоков. На ней никаких следов случившегося. Но это произошло здесь, здесь мы навеки впечатались друг в друга. Молча, мучительно, отчаянно. Внезапно я вспоминаю, что мои трусы так и лежат за хлебницей, и успеваю натянуть их под халатом как раз перед тем, как появляется мама.

— Что-то ты сегодня рано, Элла. Кофе готов? — В ее голосе звучит осуждение.

— Как раз собиралась сварить.

— Только не слишком крепкий. Мне не нравится этот твой эспрессо. Знаю, тебе кажется, что так лучше... — говорит она тем притворно уступчивым тоном, который сводит меня с ума.

— Хорошо. — Мне сегодня не хочется спорить.

Мама усаживается на диван на веранде. Всего лишь жесткий матрас из конского волоса под старым серым покрывалом, но при этом любимое место всех в доме. Здесь можно пить кофе, глядя на пруд, и читать, откинувшись на потрепанные подушки, чьи хлопковые чехлы все в пятнышках ржавчины. Кто знал, что даже ткань может заржаветь со временем?

Вполне в мамином духе — занять лучшее место.

Ее золотистые волосы, теперь подернутые сединой, скручены в небрежный узел. Старая ситцевая ночнушка истрепалась по краям. Однако она все еще ухитряется выглядеть величаво, как фигура на носу новоанглийской шхуны XVIII века, строгая и прекрасная, в жемчугах и лавровом венке, указывающая путь.

— Я только выпью кофе, а потом уберу со стола, — говорю я.

— Если ты уберешь со стола, то я домою посуду. М-м-м, спасибо, — отвечает она, когда я протягиваю ей кружку. — Как водичка?

— Холодная. Идеально.

Лучший урок, который я получила от матери, таков: в жизни нельзя жалеть о двух вещах — о ребенке и купании.

БУМАЖНЫЙ ДВОРЕЦ

Даже в самый холодный день начала июня, когда я стою перед солеными волнами Атлантического океана, с неприязнью глядя на тюленей, которые высовывают свои уродливые бесформенные головы и привлекают сюда белых акул, в моей голове звучит ее голос, побуждающий броситься в воду.

— Надеюсь, ты повесила полотенце на веревку. Не хочу сегодня снова увидеть кучу мокрых полотенец. Скажи это детям.

— Оно на веревке.

— Потому что, если ты не накричишь на них, это сделаю я.

— Хорошо.

— И пусть подметут свой домик. Там настоящий свиарник. И не смей делать это за них, Элла. Твои дети совершенно избалованы. Они уже достаточно взрослые, чтобы...

С пакетом мусора в одной руке и кружкой в другой я выхожу наружу, и ее ворчание уносит ветер.

Худший мамин совет: «Веди себя в духе Боттичелли». Будь как Венера, поднимающаяся из воды, стоя на раковине, с благонаравно сомкнутыми губами, целомудренная даже в своей наготе. Этот совет мама дала мне, когда мы с Питером стали жить вместе. Ее слова прибыли на выцветшей открытке, которую она купила много лет назад в сувенирном магазине галереи Уффици: «Дорогая Элинор, мне очень нравится твой Питер. Пожалуйста, постарайся иногда быть покладистее. Держи рот на замке и выгляди загадочно. Веди себя в духе Боттичелли. С любовью, мама».

Я бросаю мусор в бак, захлопываю крышку и крепко завязываю трос, чтобы внутри не забрались еноты. Это

умные создания с длинными ловкими пальцами. Маленькие человекоподобные мишки, более смысленные и зловредные, чем кажутся. Мы воюем с ними уже много лет.

— Ты не забыла завязать трос, Элла? — спрашивает мама.

— Конечно. — Я благонаравно улыбаюсь и начинаю убирать со стола.

1969 год. Нью-Йорк

Скоро придет отец. Я прячусь, сидя на корточках за баром, который отделяет гостиную от просторной прихожей. Бар состоит из квадратных секций. В одной — алкоголь, в другой — граммофон, в третьей — папина коллекция пластинок, несколько огромных книг об искусстве, бокалы для martinis, серебряный шейкер. Секция с алкоголем открыта с обеих сторон, как окно. Я смотрю сквозь бутылки, завороженная их топазовым цветом: шотландский виски, американский виски, ром. Мне три года. Рядом папины драгоценные виниловые пластинки. Я веду пальцем по их краям, наслаждаясь издаваемым звукам, и вдыхаю запах их потрепанных картонных конвертов в ожидании, когда зазвонит звонок. Наконец появляется отец, и мне не хватает терпения остаться в своем укрытии. Я не видела его уже несколько недель. Вылетев в прихожую, я бросаюсь в его медвежьи объятия.

Развод еще не оформлен окончательно, но уже близко к тому. Для этого родителям придется пересечь границу и отправиться в Хуарес. Конец наступит, когда мы с моей старшей сестрой Анной будем терпеливо сидеть на краю

БУМАЖНЫЙ ДВОРЕЦ

восьмиугольного, выложенного мексиканской плиткой бассейна в лобби отеля, замороженно разглядывая золотых рыбок, плавающих вокруг островка из тропических растений с темными листьями. Много лет спустя мать расскажет, что в то утро она позвонила отцу с заявлением о расторжении брака в руке и сказала: «Я передумала. Давай не будем этого делать». И хотя развод был всецело ее решением, хотя его сердце было разбито, отец ответил: «Нет, Уоллес. Раз уж мы зашли так далеко, давай с этим покончим». «По-кон-чим» — три слога, изменивших мою жизнь. Но в тот момент, когда я бросала золотым рыбкам крошки своего английского маффина, стуча пятками по мексиканской плитке, я и понятия не имела о дамокловом мече у меня над головой. О том, что все могло пойти по-другому.

Но Мексика еще не случилась. Пока еще отец изображает радость и влюблен в мою мать.

— Элинор! — Он подхватывает меня на руки. — Как поживает мой крольчонок?

Я смеюсь и цепляюсь за него с чувством, приближающимся к отчаянию; мои светлые кудряшки лезут ему в глаза.

— Папочка! — Анна выбегает, как бычок, разъяренная, что я успела первой, и отпихивает меня от него. Она на два года старше, и у нее больше прав. Папа как будто не замечает. Сейчас его заботит только собственная потребность в любви. Я протискиваюсь обратно.

Откуда-то из нашей невзрачной землянистого цвета доверенной квартиры доносится голос мамы:

— Генри? Хочешь выпить? Я готовлю отбивные.

— С удовольствием! — откликается он раскатистым голосом, как будто между ними ничего не изменилось. Но в его глазах печаль.

08:15

— Мне кажется, вчерашний вечер прошел успешно, — говорит мама, выглядывая из-за потрепанного томика романа Дюма.

— Определенно.

— Джонас выглядел хорошо.

Мои руки, в которых я держу тарелки, напрягаются.

— Джонас всегда хорошо выглядит, мам.

Густые черные волосы, в которые можно запустить пальцы, светло-зеленые глаза, кожа цвета сосновой смолы — дикое создание, самый красивый мужчина на свете.

Мама зевает. Так она дает понять, что сейчас скажет что-то неприятное.

— Он славный, но я не выношу его мать. Корчит из себя праведницу.

— Это так.

— Как будто она единственная женщина в мире, которая сортирует мусор. И Джина. Даже спустя столько лет я все еще не могу понять, почему он на ней женился.

— Потому что она молода и красива? Потому что они оба творческие люди?

— Была молода, — поправляет мама. — А уж то, как она сверкает своим декольте... Расхаживает так, будто она мечта